

**Дедков, И. Если смотреть правде в глаза... [Текст] / И. Дедков // Богомолов, В. Момент истины : роман, повести, рассказ : приложение к журналу «Дружба народов». – М.: Известия, 1984. - С. 534-542.**

Владимир Богомолов существует и присутствует в современной литературе только своими книгами. Ни интервью, ни статей, ни речей, ни щедрого оповещения о своих творческих планах — ничего, кроме книг. В конце концов, у каждого свой характер. В конце концов, у каждого свои представления о долге и чести писателя, о писательском образе жизни. И, может быть, самое важное — об ответственности за написанные и произносимые слова.

Для такого непростого существования и присутствия необходимо, чтобы книги удерживали отчетливо-отдельный, свой, хорошо различимый, памятный и дорогой смысл, не теряющийся в общем контексте литературы. Все богомоловское в ряду лучших явлений военной прозы сохраняет такой смысл, не смыаемый временем. Это достигнуто не за счет сенсационности материала, не благодаря угождению распространенным вкусам, создающим спрос и молву; все это здесь ни при чем. Речь идет о том смысле, который вырастает из отношений художника с действительностью и выражает своеобразие этих отношений, этого продвижения художника к истине.

Вся богомоловская проза — один том. Эта книга растет медленно, но у нее твердый и надежный состав; все, что в нее входит, старое или новое, в ней и остается, и вычеркнуть ничего нельзя.

Это так, растет медленно, но у нее есть будущее, нам есть чего ждать, и всему, что написано или пишется, — свой черед. Один том — это немного. Но что из того?

Герои романа В. Богомолова "Момент истины" ("В августе сорок четвертого...") воют не числом, а умением. Всеми своими действиями, всем своим пониманием долга и возникшего положения они опровергают якобы заведомые преимущества больших чисел и количеств, их решающую роль. Автору близка вера его героев, он тоже по-своему ее исповедует. Как и они, он верит в честную, исполненную до конца, до "результата", работу, верит в силу умения и знаний, в решающие преимущества достойно мыслящей и ответственно действующей личности.

У В. Богомолова был повод сказать твердо: "По моему убеждению, которому я неуклонно следую, автор может писать только о том, что он знает досконально ("Я это знаю лучше всех на свете — живых и мертвых, — знаю только я")."

Но мало ли что твердо говорят, мало ли в чем уверяют себя и других?

Не тот, однако, случай, чтобы сомневаться...

Почти четверть века назад был написан "Иван", и ничто в том

рассказе с тех пор не поблекло, не потеряло смысла. Ничто в нем не побуждает сегодня делать скидку на время, обстоятельства, литературную неопытность автора и т. п. А рассказ-то был первый напечатанный В. Богомолым. Первый — и сразу замеченный и заставивший запомнить имя нового писателя. Первый — и прямо-таки "канонический" текст, и незачем задним числом добавлять ему "прогрессивности" или стилистического блеска. Первый, — и сегодня это ясно, — хрестоматийный, в лучшем смысле этого слова: годный для чтения и образования чувств — всем и надолго. Теперь без "Ивана" наша "военная проза" непредставима. Как не представима теперь без всего богомоловского: без "Зоей", без коротких рассказов ("Сердца моего боль" и др.), без романа "Момент истины" ("В августе сорок четвертого..."). Теперь книги В. Богомолова знают во многих странах мира: только роман (впервые опубликован в 1974 году) издан общим тиражом шесть с половиной миллионов экземпляров на 26 языках; на 32 языка переведен "Иван", общий тираж которого превысил семь миллионов экземпляров.

Иногда о первых своих публикациях — рассказах, повестях, даже романах — стараются забыть. Их не переиздают, признавая художественно слабыми, идейно бедными и устаревшими. Стыдно бывает перечитывать, не то что переиздавать.

Владимиру Богомолу незачем что-либо забывать, не от чего отрешиваться. Кажется, что поры литературного ученичества у него вообще не было. Во всяком случае, ничего ученического на всеобщее обозрение он не выставлял. И ни к каким сильным литературно-общественным поветриям, к влиятельным обстоятельствам не принаравливался. Он опубликовал только то, что выдержало его самосуд. Он и в дальнейшем поступал так же: публиковал то, что отвечало его жестким требованиям к себе, к литературному делу. Уровень этих требований проверен и провернется временем, он подтверждается как достаточно высокий: богомоловская проза — без потерь — продолжает нести в себе "момент истины", момент искусства и правды, ясно осознанной и необходимой.

Владимир Осипович Богомол принадлежит к поколению двадцать шестого года. Он воевал совсем юным, был ранен, не раз награжден; позади остались фронтовые дороги России, Украины, Белоруссии, Польши, Германии, Маньчжурии. Он служил в армии и после войны. Словом, был профессиональным военным — стал профессиональным писателем. Выражение "профессиональный военный", однако, более определенно по смыслу, чем "профессиональный писатель". Когда писателя хвалят за профессионализм, то это может означать разное. Например, то, что он хорошо знает свое дело, ремесло. Или то, что он споро выполнит любой заказ. Или же то, что он поставил сочинение романов или стихов на поток.

Герои богомоловского романа, контрразведчики-розыскники, профессионалы, иногда говорят о "факторе человечности" и "моральном аспекте" своих действий. Идет жесточайшая война, их воинское ремесло изощренно, рискованно, кроваво; человечность и обычная мораль присутствуют в нем как "фактор" и "аспект"; большее их участие практически недостижимо. Но и простое их присутствие — уже акт доблести и благородства, уже благо, и дается Оно нелегко.

Для Богомолова-писателя человечность и моральность — всеопределяющий угол зрения, литературный профессионализм — лишь "фактор" и "аспект". Он всецело подчинен и служит заветной, главной задаче. "О том, что знаю лучше всех на свете, сказать хочу. И так, как я хочу" (А. Твардовский).

О "сыне полка", о краткой и брэнной любви на войне, о приключениях разведчиков и контрразведчиков писали до Богомолова, и не раз. Но это его не смутило. Он писал вроде бы про то же самое, но по-другому, про другое, в других целях; чаще всего он превосходил в знании предмета, но еще важнее, что понимал его глубже и видел дальше. Может быть, богомоловские истории потому и врезаются в память, что в них ощутима некая абсолютная правда, словно в них все художественно исчерпано и прояснено до конца? Словно и в самом деле там — просверк истины, и не какой-нибудь частной, мелкой, короткой, а той, что связана с надеждой жизни на духовно стойкого и морального человека, на его победу. Кажется, нет литературы более жестокой и мучительной, чем та, что говорит о войне. Однако, что бы ни было предметом изображения, художник следует одним и тем же нравственным убеждениям, если они тверды. Материал войны неизбежно жесток, перенасыщен смертью или ее угрозой, многим моральным заповедям и запретам там нет места, они мешали бы войне быть войной. Но сам-то художник принадлежит не войне, не ее законам, и, даже сознавая "страшную необходимость" (Л. Толстой) ее для своего отечества, он остро чувствует, как вся жизнь и весь человек под действием могучих беспощадных обстоятельств отклоняются от того, что еще вчера казалось нравственной осью бытия, если и колеблемой, и даже сильно, но все равно существующей. Отклоняются, но помнят о ней и стремятся к ней вернуться. Бездна войны, народного страдания, равно как и высота духовной народной стойкости и мужества, нуждаются, с точки зрения художника, в каком-то измерении, и художник пытается такое измерение найти.

Иногда думают, что самые суровые и категорические наши военные писатели — В. Быков и В. Богомолов. Может быть, так и есть. О высоких требованиях к человеку, которые содержатся в их книгах, писалось не однажды. Героическое кажется трудно совместимым с истинно человеческим. Там, где жестко-высокие требования, человечности вроде бы нечем дышать. Человечность — это вроде бы

тогда, когда пишут: "И нет на земле виноватых". Но отвлеченности легко толковать вкривь и вкось; художественная конкретность в этом смысле все ставит на свои места, и тогда много виднее, где гуманность и где жестокость, где мужество и где деловитость убийц, где добро и где зло...

Иван Буслов, разведчик, лазутчик, был "совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более десяти-одиннадцати лет, хотя по лицу, угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все тринадцать". Таким впервые увидит Ивана старший лейтенант Гальцев, когда мальчик вернется с "того берега".

Внимательными, добрыми глазами Гальцева смотрим и мы; этот угол зрения в рассказе неизменен; лишь в самом конце строки немецкого документа вдруг заставят нас представить себе другой взгляд — врага. Можно было добавить много страшного и даже ужасного, рассказав о скитаниях мальчика в тылу немцев. Для этого нужно было переменить угол зрения, взглянуть на все глазами мальчика или еще как-то, все ведая и все проникая, то есть явно переступив границу, отделяющую твердое авторское знание от предположений и фантазий. Хорошо это или плохо, но переступить эту границу В. Богомолу трудно и по сей день. Возможно, вышло бы гораздо чувствительнее, страшнее, но писатель предпочел, чтобы вместе с Гальцевым мы испытали, пережили горькую беспомощность взрослых перед лицом такой детской судьбы, остро поняли всю ее противоестественность, расслышали заключенный в ней укор.

Мальчика в рассказе редко называют Ванюшей, Ванюшкой. Взрослые сдержанны, ласковые слова малоподходящи, нельзя же жалеть мальчонку, а потом самим снаряжать его туда, где не им, а ему предстоит рисковать жизнью... Взрослые — боевые офицеры — как бы даже стесняются Ивана, им неловко при нем, беспокойно, не по себе: мы-то, сильные, вооруженные, здесь, среди своих, а он, полураздетый, полуголодный, беззащитный, скитается там, во вражьем тылу, за вершок от смерти. И ничего нельзя поделывать, ничего нельзя изменить. Эта вдруг возникающая "недетская сосредоточенность" взгляда, эта медленная, неохотная еда, будто он отвык есть и привыкать уже нет смысла... Какое-то внутреннее страшное напряжение держит и не отпускает его... Ивана не остановить, не вразумить, не спрятать от войны. О нем говорят, что ему "ненависть душу жжет". Наверное, то, что мог видеть и пережить этот мальчик, плохо поддается словам. Писатель и не ищет таких слов, боясь неправды. Он полагается на наше воображение. Он знает: оно содрогнется, пытаюсь представить себе, как на руках мальчика была убита его маленькая сестренка. В. Богомол не описывает катастрофы счастливого детского мира. Он позволяет нам увидеть последствия катастрофы. И этот бесцветный сжигающий пламень

ненависти.

Когда никого нет, Иван играет в землянке, как все мальчишки на свете во все времена. Стол перевернут, мальчик разгорячен, в руке нож, на груди бинокль... Похоже, что, даже играя, он продолжает рассчитывать с врагом, на этот раз волшеббно могущественный и неуязвимый. А во что же ему еще играть? — мог бы спросить нас писатель. — Во что?

Нет, не приключения храброго юного разведчика, неуловимого мстителя в тылу врага описал Владимир Богомолов, хотя мог бы, мог бы... Он исходил из того, что детям на войне делать нечего, и если там для них нашлось дело, то это несчастье, беда, и повода для восхищения и подражания тут нет. Можно ли желать кому-либо повторения такой судьбы и таких подвигов?

Судьба Ивана Буслова никак не располагает к умилению, к рассуждениям о героизме; мешает возникающее чувство огромной неискупимой взрослой вины.

Стрельбы у Богомолова мало, но, какова война, сомнений не остается, иллюзий - тоже. Преувеличенным представлениям о "факторе человечности" тут не развернуться. Вот короткое воспоминание в "Зосе" о недавнем бое: "...Я, ошалев от удара прикладом по каске и озверев, дрался врукопашную запасным стволом от пулемета; выбиваясь из сил и задыхаясь, катался по земле с дюжим эсэсовцем, старавшимся — и довольно успешно — меня задушить, а затем, когда его прикончили, зарубил немца-огнеметчика чьей-то саперной лопаткой". Вот описание в романе того, что розыскники называют "экстренным потрошением" агента: Таманцев "бутафорит", лицо искажено, гимнастерка разодрана до пояса, захлебываясь руганью и слезами, изображает истерику, он сейчас своими руками прикончит этого гада, убившего "лучшего друга" Ваську! — тяжелое, малопривлекательное, но необходимое, выходит, актерство! Или вот автор досконально изображает "качание маятника" в исполнении того же Таманцева... Точные, выверенные, суровые слова, но другим здесь нечего делать, для изображения такой схватки, такого ремесла они не годятся.

Все эти беспощадные глаголы ("задушить", "прикончили", "зарубил", "всадил"), все жаргонные словечки розыскников ("потрошение", "качание", "чистильщик" и "волкодав" и др.), а главное — все, что стоит и возникает за ними, не очень-то удовлетворительно и похвально с отвлеченно-эстетической и отвлеченно-нравственной точки зрения. То, чем заняты Таманцев и Алехин, может даже покоробить иную тонкую душу, но тонкие души забывают, что война вообще малоприглядна и что существует черная работа, которую нужно делать во имя спасения многих. Таманцев действует, и ему не важно, как он выглядит со стороны: ему вообще не приходит в голову, что возможна какая-то третья, все рассуживающая сторона. Эта

сторона возникает в романе в лице автора, и автор не сомневается, что его герои правы. Они противостоят несомненному, страшному врагу своего народа, и всякая отвлеченность от этого основного факта безнравственна. Герои романа стоят на самом острие категорического приказа, далее приказывать некому, далее — нет никого, да они и не хотят уйти от ответственности. Они ясно сознают: "никто за нас это не сделает..." Они добьются "результата" и "момента истины", и это будет торжеством воинского умения, ума, мужества; торжеством профессионализма над "любительским" подходом к делу войны.

Момент истины — это есть "момент получения от захваченного агента сведений, способствующих поимке всей разыскиваемой группы и полной реализации дела".

Такой момент истины равнозначен полному успеху, победе, торжеству дела, но слово истина сохраняет здесь и свой прямой смысл: происходит решительное прикосновение к правде, к голому проводу правды. После романа В. Богомолова выражение "момент истины" вошло в журнально-газетный обиход и нещадно эксплуатируется. Ничего особенно хорошего в этом нет; слова изнашиваются, к ним привыкают, но, слава богу, это происходит за пределами романа и его продолжающейся жизни. П. Палиевский однажды писал, что "современная трезвость, относясь к литературе с прежним уважением, доверяет ей меньше... В документе она видит свободу от иллюзий".

"Современная трезвость" не столь уж узка и бескрыла. Ее недоверчивость можно понять. Так же нетрудно понять, почему она высоко ставит освобождение от иллюзий, то есть все тот же "момент истины". Прикосновение к правде-истине, как известно, потрясает, но не убивает. Оно разительным образом улучшает наше зрение и позволяет делать более сознательный и более достойный выбор.

В романе Богомолова есть правда, рассеивающая пелену иллюзий и розового тумана, раздвигающая наше знание о многообразном содержании войны, о мере человеческих испытаний.

Богомолов являет блестящее знание избранного материала во всей его конкретности: терминологии, технологии, организации, проблематики, человеческого состава. Для Владимира Богомолова то, что называют материалом, — святое вместилище памяти, боли, восхищения, горечи, гордости. Этот материал освоен, как говорят в таких случаях, "изнутри" можно догадаться и оценить, что за этим, какой опыт стоит.

Каждый шаг, каждое усилие группы Алехина воспроизведены Богомоловым тщательно и конкретно. Выявлена сложная и тяжелая технология ее ремесла. Но даже высокий профессионализм не исключает ошибок; захватывающе изобразив, как Алехин и его товарищи с полным напряжением сил "тянут" поначалу "пустышку", писатель ничуть не уронил их достоинства в наших глазах. Мы

убедились, что эти люди имели дело с умным и дальновидным врагом, что поле их действия было необычайно сложным, а их решения отличались гибкостью, учетом всех реальных обстоятельств, непредвзятостью и честностью выводов. Преимущества профессионализма выявлены в романе не случайно. Хотя "чистильщик и волкодав" Таманцев без конца клянет "прикомандированных", "помощничков" ("балласт!"), от которых толку на грош, тут нет высокомерия и даже намека на суперменство. Профессионализм для розыскников Богомолова означает умение с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки добиться наибольшего результата. Именно такой профессионализм имеет определенную нравственную основу. Эти люди убеждены: ловить шпионов — "их привилегия, их удел" на войне, и потому они не хотят некавалифицированной помощи, не хотят напрасных смертей.

Требование скорейшего результата становится к середине романа категорическим. Даже угрожающим. Над головами Егорова и Пешкова нависают не сулящие ничего хорошего начальственные слова, а очередная подстегивающая шифротелеграмма открывает перед ними перспективу "специального трибунала".

Результата! — требует и ждет от своих розыскников генерал Егоров, но даже упомянутые перспективы не ввергают его в круговорот нарастающей спешки, всеобщей лихорадочной активности и страха перед верховной волей. Должно быть, в труднейшую минуту своей жизни генерал передаст в Москву слова, исполненные редкого мужества и профессиональной чести: "Надо смотреть правде в глаза. Все без исключения предпринято и делается. Однако никаких гарантий, что разыскиваемых удастся взять сегодня или даже завтра, нет и быть не может".

Сколько ни перечитывай, удивительные по внутренней силе и достоинству слова! Слышат ли их?

Результат! Во что бы то ни стало! Быстрее! - требуют от Егорова его высокие руководители, твердо заявляя: "Нас не интересует процесс розыска сам по себе, нам необходим результат".

Писатель показывает, что результат действительно необходим. Под угрозой срыва оказывается важнейшая стратегическая операция. В то же время очевидно, что в дело розыска вовлекается множество лишних, подстраховывающих друг друга лиц, встревоженных собственной судьбой в случае неудачи. Именно в этот момент число все явственнее начинает брать верх над умением, над компетентностью, над трезвой и честной оценкой фактов, а категорическому самоуверенному слову все больше кажется, что оно всемогуще. Вырастающий на наших глазах огромный снежный ком поразительных по размаху усилий рискует сорваться с горы наудачу, дав минимальный, недостаточный результат.

Недаром Егоров задается вопросом, в котором отразилась одна

из основных нравственных проблем романа: "Давайте уясним, что для нас важнее: момент истины и "все концы" или же создание видимости нашей активности".

Видимо, одно из главных и постоянных различий между любительским и профессиональным решением задачи заключается в том, что результата добиваются в первом случае любой ценой, а во втором - наименьшей. Впрочем, в первом случае за результат может сойти и бурная пустая активность.

Сама художественная логика романа приводит нас к мысли о тружениках войны, твердо знавших свое дело и свой долг. Они, действуя на острие приказа, добывают результат, развязывают "все концы", приближая в полную меру своих человеческих сил момент высочайшей для них истины — победы над гитлеровской Германией.

Война и воинское ремесло героев определяют в прозе В. Богомолова даже особенности ее стиля. Воспроизводится не только словарь, но и сам образ мыслей, способ рассуждений, ищущий точности и краткости, опускающий эмоции. Но тщательное воспроизведение всего специально военного, "технологии" и "философии" розыскного дела не является для В. Богомолова самоцелью. Он стремится к максимальной достоверности всей обстановки, всех обстоятельств, потому что имаме желанной правды не достичь. Иначе ему не добиться своего, художественного "момента истины". Органически вошедшие в роман подлинные оперативные документы — сводки, записки, спецсообщения, шифротелеграммы — еще более укрепляют эту достоверность, придавая ей исторически-конкретный и объективный характер. События романа находят обоснование и продолжение в документах: содержание, логика и тон документов отражаются на героях романа, нагнетая напряженность и драматизм; иные действующие лица завершают свою романную судьбу в документах, другие являются из документов, чтобы действовать... Образуется слитое с документом единое художественное произведение, всесторонне и неотразимо аргументированное. Оно выходит за рамки приключенческого жанра хотя бы уже потому, что смысл его не исчерпывается искусной интригой и благополучным исходом приключения. Это для нас приключение, а для героев романа — тяжелая, смертельно опасная работа. Для них — это их жизнь, другой никакой сейчас нет, другая — в тревожных письмах из дому, в переживаниях за судьбу близких, в редких воспоминаниях о довоенных надеждах. Иные из них (Алехин, Поляков) и профессионалы-то поневоле; такими их сделала война... В романе — только часть жизни воюющих людей, но она сохраняет всю полноту смысла, не сводимого к детективной логике и схеме: ищут, нашли, схватили... Мы постоянно чувствуем, что, решая сегодняшнюю, неотложную задачу, — поглощенные ею! — герои романа словно держат в уме какую-то, еще более значительную сверхзадачу, и она в



военных терминах, пожалуй, не вполне выразима...

Война не перестает быть войной, военные заботы — военными заботами, но повсюду у Богомолова, во всем, что написано, изображено им, присутствуют и внимательно смотрят широко открытые, живые человеческие глаза, вбирающие весь доступный им мир — без изъятия, без небрежения чем-то, без каких-либо шор. Да, они смотрят пристально и цепко, и всякий персонаж романа, даже "проходной", мимолетный, предстает как живой, но разве — не будь этих глаз — поверили бы мы в этих розыскников, в их искусность и наблюдательность? Тут и весь жаргон не помог бы, не поверили б ни за что.

Этот роман западает в память многими лицами, и ни одного — бесцветного, стертого, не прорисованного. Каждый человек, какой бы малой ни была его роль в событиях, увиден взглядом наметанным, острым и неравнодушным. Здесь нет лиц приблизительных, без своей судьбы и своей отдельной правды. "Кровавый отблеск" лежит на всем, что есть и еще случится с отцом и сыном Васюковыми, тягостна и безысходна душевная драма горбуна Свирида, у героического поступка хуторянина Окулича оказывается совсем не героическая природа, страшная, трудно постижимая ожесточенность движет немецкими шпионами "Анной Ивашевой" и Мищенко... А сколько живой характерности и смысла в пани Гролинской, матери юного варшавского повстанца, в бывшем воре Борискине, шофере продовольственного склада, в болтливом, разбитном старшине из Лиды, в молодой крестьянке Юлии Антонюк! Впрочем, тут, кажется, никого не забудешь: ни особиста Камалова, ни генерала-астматика, ни огородника из бывших русских поручиков...

Искусно построив роман, Богомолов не переборщил, однако, с искусностью. Эта постройка лишена каких-либо заметных литературных ухищрений; она, может быть, в известном смысле даже антилитературна, если под "литературностью" разуметь нечто сугубо "правильное", "складное", "отутюженное". Если ряд глав и написан от лица Таманцева или Алехина (здесь использован популярный прием), то сделано это ради полноты центральных характеров, для укрупненного показа внутренней работы их ума и души. Мы на стороне Алехина и Таманцева, Блинова и Полякова не только потому, что они — наши, но и потому, что автор открыл нам их внутреннюю жизнь, и стало ясно, что, какими бы разными они ни были, это — люди чести и долга, люди — для обстоятельств такой войны — просто хорошие и достойнейшие...

По всему видно, что глаза автора не притерпелись к злу и безобразию войны, не обвыклись среди беды и горя. Им открыта боль жизни, ввергнутой в это смертоубийство. Им открыто и мужество человека, чувствующего эту боль вокруг и в себе и воющего во имя возрождения человечности.

В "Зосе" взгляд автора соединяет погожее утро в польской деревушке, бойцов за ловлей раков на речке, счастье покоя и передышки, красоту окрестностей, память о жестокой рукопашной, чтение Есенина, прекрасную юную полячку, двести три похоронки, которые нужно заполнить... А герой — "совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленный...". Но он уже начальник штаба батальона, в котором мало кто уцелел, и ему невмогуту вносить в эти форменные бланки имена тех, кого он знал и помнит живыми. Ему невмогуту повторять каллиграфически заполненный образец с официально-казенным обращением: "Гр-ке...", и он ищет слов проще и человечней, чтобы смягчить эту сухость, весь ужас разносимой им вести. Что ж, думает он, если в штабе бригады не заверят "мою самодеятельность печатью", перепишу заново — "в батальоне имелось еще тысячи две чистых бланков". Немалый запас.

Все существует вместе и рядом, и все вместе проходит навсегда: эта пауза между боями, заполнение похоронок, запах яблок и меда в саду, семнадцатилетняя польская девочка и отчаянно-робкое, юношески чистое чувство к ней. Это то, что от века называют первой любовью, и даже война со всеми ее "законами" не может ее заглушить или исказить, не может справиться с нею. Эта любовь так и канет, мелькнет чудесным светлым обещанием; нет ей воли и времени, она оборвана и обречена, но во имя ее света и с горечью об ее утрате существует теперь эта короткая повесть. Существует для новых поколений, сберегая и распространяя тот свет...

Боль жизни, терзаемой войной, обнаруживает себя у В. Богомолова резче всего через гибель или несбыточность молодых надежд ("Сердца моего боль", "Первая любовь", "Зося"); через страдания детей ("Иван", "Момент истины").

На войне нужны твердые люди. Это известно. "Неврастеник ты, лечиться надо", — пошучивает над Гальцевым офицер разведотдела Холин. "Гнилой сентиментализм", — обрушивается на героя другой богомоловской повести его командир. Автор уважает людей типа Холина, любит и ценит их, но твердость, в его понимании, много надежнее и приемлемее, когда соединена с неутраченной чувствительностью, с человечностью.

Чем должны заниматься дети в "приключенческом" романе рядом с "твердыми" людьми? Во множестве сочинений дети прекрасно им помогают, успешно обнаруживают, выслеживают и даже задерживают шпионов, диверсантов и контрабандистов. Богомоловские герои, как ни странно, обходятся собственными силами. Но дети в романе есть, хотя непонятно, что же им тогда там делать? Им действительно нечего было бы там делать, если б роман был приключенческим, но в том-то и дело, — повторимся, — что роман не о приключениях, а о такой жизни. Группа Алехина действовала, а вокруг шла жизнь, пусть далекая от нормального состояния, но все-таки жизнь. А какая жизнь

без детей? Разумеется, детей можно было бы не замечать, но автор и его герои почему-то пренебрегли этой возможностью.

Вспомним, как возникают в романе детские лица, как рождается и участвует в "философии" романа мысль о детях.

Алехин уже собрался уходить из хаты председателя сельсовета Васюкова, когда "груда тряпья на печи зашевелилась". Сунув руку в тряпье, Васюков "вытащил оттуда и быстро поставил на пол мальчонку примерно двух с половиной лет, беловолосого, в стиранной-перестиранной рубашонке". У мальчика не было левой руки: "из короткого рукава рубашонки выглядывала необычно маленькая багровая культия".

Алехин "за войну перевидел всякое. И все же ему сделалось не по себе при виде этого крошечного калеки, с такой подкупающей улыбкой смотревшего ему в глаза".

Уходя из села, Алехин оглянется: посреди улицы, подпрыгивая на костылях, двигался Васюков, а позади него, "силясь не отстать, бежал малыш с краюшкой, зажатой в руке".

Владимир Богомолов сдержан в описании переживаний, но то, что видят его герои, на что "оглядываются", красноречиво само по себе.

Беззащитность ребенка, невозможность помочь, предупредить новые беды — это то, с чем плохо справляется разум — алехинский, авторский, наш.

Позже В. Богомолов расскажет о полученном Алехиным письме: его семья осталась на зиму без дров, а четырехлетняя дочка больна. В мыслях Алехина о дочери "самым ужасным было сознание своей беспомощности, сознание, что там, далеко в Заволжье, страдает маленькое, столь дорогое ему существо, а он не в силах, не в состоянии чем-либо ей помочь...".

Железный человек Таманцев оставляет Юлии Антонюк продукты, которые надлежало изъять. Во всяком случае, кто-нибудь другой, свободный от "гнилого сентиментализма", непременно изъял бы. Только что, рискуя жизнью, Таманцев пытался задержать и убил вражеского агента, дорогого для Юлии человека. Причин быть добрым к этой женщине у Таманцева нет. Но, сидя в засаде, он подолгу рассматривал в бинокль ее маленькую дочку. Когда она, наигравшись, заснула на траве, Таманцеву стало "скучно и одиноко". Кто бы ни был ее отцом, — думал Таманцев, — "какой-нибудь фриц, Павловский или еще кто-нибудь", "чем она виновата?". В рапорте, объясняя, почему не изъяты продукты, он укажет "наличие" "голодного ребенка".

Тот же Таманцев вспоминает свою первую встречу с вражескими агентами-парашютистами. Все четверо были в нашей военной форме и везли с собой для прикрытия русского мальчика, подобранного где-то у границы. Их радистку мальчик был приучен называть "мамой", и в разгар стрельбы, обхватив эту женщину, "окровавленную, полуживую", обеими руками, он "дико кричал; в этой страшной передрыге она

наверняка казалась ему самым близким человеком".

Таманцева иногда называют "суперменом", но позволительно заметить, что так называемые "супермены" обычно не принимают близко к сердцу мелких подробностей жизни, и, прежде всего, чужого страдания, и чужой боли. Они не видят их в упор.

Страдания детей в романе В. Богомолова — как еще один сигнал о бедствии, которое терпит жизнь. Детские лица и судьбы, мелькнувшие в романе, — еще одна подробность реального, жестокого мира Алехина и его товарищей. Приказ приказом, долг долгом, но героев писателя ведет и другое: они видят, как распоясалось зло, и в полную меру своих сил возвращают жизнь к ее нормальному состоянию.

У В. Богомолова дети словно напоминают взрослым о чем-то чрезвычайно важном, полузабытом, заглушённом; с ними возникает новая, предельно ясная, неопровержимая мера происходящему; остро осознается, что дети тоже видят все это и что на самом краешке жизни они — беззащитнее всех...

Владимир Богомолов, как человек и художник, решительно отвергает схематическое, скороспешное мышление, огульное, упрощенное определение людей и явлений, всякую нравственную неопределенность. Люди в его романе выбиваются из-под готовых, заблаговременных, жестких определений; жизнь и людей предлагается рассматривать непредубежденно, ничего заранее не предрешая. Отвердевшая, упрямая, прямолинейная мысль приводит помощника коменданта Аникушина к непоправимой ошибке. Да и сама аникушинская предубежденность вырастает под воздействием испытанных им на себе категорических, несправедливых оценок человека. Когда в романе произносятся слова о безответственности и чуть ли не саботаже, то от них веет холодом все того же удобного, всеоблегчающего схематизма, знакомой огульности, ищущей повсюду виноватых и не желающей считаться с объективной реальностью. Автор не опускает ничего, что могло бы объяснить и оправдать слова о саботаже и прочем. Тем яснее и очевиднее их глубокая несправедливость. За ними нет даже опасения быть несправедливым, слоено сомнения по этому поводу и в самом деле — занятие для "неврастеников"... Автор говорит нам ясно: решающая роль в изображаемых событиях принадлежит группе Алехина, а также Полякову и Егорову. Это они достигли результата, это их заслуга и победа. Понимание этой роли, а также всего воспроизведенного в романе механизма военного управления, восходит у В. Богомолова, на наш взгляд, к толстовской традиции.

Навязчивое долженствование чувствует себя в этом романе столь же худо, как и в реальной жизни. Видимости, порою очень активной, весьма убедительной и самоуверенной, противостоят действительный человек и его действительное дело. Истина у Богомолова как бы

поднимается снизу; она вполне и сколько угодно может не совпадать с домыслами, предположениями, теориями, вообще — с "должным", с абстракциями. В ней всегда есть неожиданность — признак жизни.

Владимир Богомолов исходит, скажем, не из того, каким должен быть человек, спасший от немцев комиссара, а из того, каким он был на самом деле в том конкретном неповторимом случае, вошедшем в роман. Так читатель открывает для себя Окулича с его страхами и отчаянным желанием уцелеть при всех; и комиссара-то он спас, оказывается, не из каких-то там убеждений, а просто заранее страшась партизан больше, чем немцев...

Образ мысли Аникушина и его судьба также заставляют нас думать о том, что никакая схема не может быть годной на все случаи жизни и что всякий раз нужно наново вглядываться в человека или явление, чтобы не ошибиться.

Эта мысль может показаться чересчур простой, общедоступной и очевидной, однако роман В. Богомолова убеждает нас в том, что до общедоступности и очевидности чаще бывает далеко, чем близко.

В этой книге — историческая и человеческая конкретность войны, неопровержимая и неожиданная.

Проза Владимира Богомолова чужда всему мнимо значительному, манерному, нарочито "художественному", нравственно неразборчивому. Она неизменно сдержанна и благородна, достоверна и убедительна. Все, о чем она говорит, — серьезно, независимо от расхожих мнений и модных поветрий и основано на том же суровом чувстве ответственности, которое вело героев писателя: "Никто за нас это не сделает..."

Читая Владимира Богомолова, понимаешь: этому писателю и человеку можно верить. Он рассказывает о войне, словно видя мысленно "всю Россию, где в каждой второй или третьей семье кто-нибудь не вернулся..."